



М.А. ВОРОНОВ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Повести. Рассказы // Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1961
FB2: Isais <isais2005@yandex.ru >, 2014-11-21 10:36:50, version 1.0
UUID: E09172E4-161F-4B76-A508-1D7D107249DB
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Михаил Алексеевич Воронов

Пламенная любовь
(Калейдоскоп #7)

Михаил Алексеевич Воронов

Пламенная любовь[1]

— Кар-раул! режут! Ба-атюшки, спасите! Смерть моя пришла — ой-ой-ой! — такими неистовыми воплями в один из самых пленительных майских вечеров внезапно огласился дом, в котором жил я весной нынешнего года. Вопли, разумеется, произвели желаемое действие, ибо во дворе тотчас же поднялась самая невообразимая суматоха: тотчас же забегали по лестнице разные жильцы, затем засновали те же жильцы по двору, одни звали на помощь полицию, другие просто кричали неизвестно что, лишь бы только кричать хоть что-нибудь, третьи в смущении толклись на одном месте, разводили руками и бросали глазами по окнам — словом, все население дома пришло в великое движение, обрадовалось удобному для того случаю. Я высунулся в окошко. По всем признакам, драма разыгралась в маленькой квартирке, открытые окна которой были как раз насупротив: опрокинутый горшок герани, свесивши свои ветви во двор, еще слабо трепетал своими зелеными лапчатыми листьями, показывая, что именно отсюда-то и был пущен зловецкий крик; в самой же квартирке то и дело мель-

кали головы и слышался шумный говор нескольких голосов.

— Она ево, слышь, маханула, — докладывала на дворе одна баба.

— Врешь, он ее, — перебила другая.

— А с чего же он-то голосил?

— А с того... озорник.

— Ну, с тобой-то, видно, говорить нужно поемши.

— Скажи, фря какая!

— Ох ты, горе-генеральша, волдарь-дворянка! Смотри-ка, как распетушилась, ровно и всамделишной человек.

Бабы еще по разику обнесли друг друга ругательствами, плюнули одна по направлению другой и побежали по лестнице, ведущей к месту скандала.

— Эх, ты, братец, какой же ты неповоротливый! — ворчал все на том же дворе на дворника хозяин дома, толстый-растолстый, как сороковая бочка, — ужли ж у тебя и веревки на этот раз не случилось?

Дворник побежал в свою конуру и через минуту явился с обрывком веревки.

— Что такое случилось? — раскланиваясь с

домовладельцем, спросил подоспевший на зов надзиратель.

— Покушение на убийство-с. Резчика-с любовница ножом пырнула.

— С поранением?

— Нет, поранения, кабысь, нет. Да вот пожалуйста сами.

Хозяин, надзиратель в сопровождении городского и дворник с обрывком веревки поднялись на лестницу и вошли в квартиру резчика. Гвалт тотчас усилился: вопила какая-то женщина — вероятно, сама преступница, — стонал и молил о помощи потерпевший от покушения на преступление, горячился домохозяин, ратовал дворник, галдели зрители, и, унимая других, больше всех кричал надзиратель. Но вот стали мало-помалу стихать, один только голос начальства по-прежнему переливался в высоких тонах. Еще минута — смолк и начальственный баритон: началась какая-то возня, среди которой то слышался визгливый женский голос, напряженно вопивший: «Юфимушка! Юфимушка!» — то вырывались отрывочные фразы, вылетающие из мужских глоток, вроде: «Крути под лопатку!».

«Захлестывай по локтям!», «Не кусайся, не кусайся!» — и проч. Возня продолжалась недолго и кончилась отчаянным «кар-раул, убили!», после которого что-то загремело по лестнице, и затем на дворе показались городской и дворник, волоком таща в квартал связанную по рукам и по ногам, растерзанную пьяную женщину, оглашавшую воздух самыми изысканными ругательствами. Толпа любопытных теснилась вокруг преступницы, а впереди, вертясь колесами и прыгая от радости на одной ножке, бежали дети. Процессия проследовала в ворота, и на дворе все смолкло. Я взглянул в окно резчиковой квартиры — там тоже полнейшая тишина; на столе горит огонь, и надзиратель что-то пишет: должно быть, составляет акт о происшествии. Акт этот составлялся довольно долго, несколько раз надзиратель то выпрямлялся и, повертывая голову направо и налево, делал вопросы присутствующим, то сгибался в дугу и упорно водил пером по бумаге. Наконец дело, по-видимому, пришло к концу. Надзиратель взял со стола лист бумаги, повертел его перед глазами, поговорил о чем-то с присутствующими

и затем высунулся в окно. Взор его упал прямо на меня.

— Милостивый государь! — обратился ко мне страж благоустройства и благочиния.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Вы грамотный?

— Немножко, — отвечал я.

— Позвольте вас попросить сюда на минутку.

Я надел фуражку и отправился через двор.

Маленькая квартирка, в которую я вошел, была насквозь пропитана запахом водки. Квартирка состояла из крохотной передней, кухни и комнаты, в которой находился надзиратель, домохозяин, потерпевший от покушения на преступление и еще две какие-то бабы. На полу валялся разбитый вдребезги полштоф, полено, куски сокрушенной тарелки и несколько огурцов, растоптанных в какое-то тесто. Потерпевший сидел на диване в розовой ситцевой рубахе и тупо вращал большими черными глазами, совершенно вылезшими из орбит. Черные густые волосы на голове его находились в полнейшем беспорядке, руки, когда он держал их без опоры, тряс-

лись, как в самой злейшей лихорадке; сухие, потрескавшиеся губы беспрестанно искривлялись и чмокали, свидетельствуя о том страшном внутреннем жаре, который горел во всем организме этого несчастного алкоголиста.

— Вы извините меня, — обратился ко мне надзиратель.

— Ничего-с.

— Вы, вероятно, немножко знакомы с происшедшим здесь?

— Очень мало.

— В таком случае садитесь и потрудитесь прислушать.

Я сел и стал «прислушивать» пространный рассказ о том, как такого-то года, месяца и числа, такой-то части и квартала, в доме под номером таким-то услышан был крик, призывавший на помощь, и как местный надзиратель такой-то, в сопровождении городского такого-то, подкрепляемые домохозяином таким-то и дворником таким-то, стремительно поспешили на крик, исходивший из квартиры резных по дереву дел мастера Ефима Семенова Локтева, вызванный покушением на

жизнь его, Локтева, со стороны проживающей в той же квартире в качестве жилицы мещанки Матрены Ивановой Миролюбивой. Как затем тот же надзиратель производил дознание и как из сего дознания оказалось, что Локтев веры православной, на исповеди и у святого причастия бывает и ни в чем предосудительном замечен не был, а занимается резьбой по дереву; Миролюбова же хоть тоже веры православной и на исповеди и у святого причастия бывает, но, по словам Локтева, уже неоднократно грозила сему последнему, если таковой будет продолжать изменять ей в своей любви. Что полуштоф с водкой разбился, а равно и огурцы рассыпались по полу во время борьбы его, Локтева, с нею, Миролюбовой; полено же было употреблено им, Локтевым, токмо для самозащиты, несмотря на каковую Миролюбова схватила со стола граверский инструмент, величиною в два с четвертью вершка, и намеревалась нанести ему, Локтеву, удар в правый бок, между восьмым и девятым ребром с прободением сердца.

Орудие преступления, то есть граверский инструмент, лежал на столе. Я взял его в руки

и невольно улыбнулся, глядя на кусок железа с едва заостренным концом. Резчик, вероятно, не заметил моей улыбки.

— Двенадцатый номер — этим шутя потрохи выпустишь, — заметил он. — Вот первый номер, тот другое дело — у того нос-то тупой, а этот... он ведь что твое шило.

— Ну, «самозащита», по-моему, будет попрочнее, — сказал я, указывая глазами на полено.

— От полена-то одна шишка вскочит — ничего больше, а это внутреннее, — продолжал свое потерпевший.

Надзиратель перебил нас и продолжал чтение акта, излагавшего различные и многообразные подробности и закончившегося постановлением о вытрезвлении Миролюбовой, приобщении орудия преступления к делу и, наконец, о передаче самого дела в ведение судебной власти.

— Вот все это я вас попрошу подписать в качестве постороннего свидетеля, — обратился ко мне составитель акта.

— Но меня никуда не потянут?

— Никуда-с. Это одна форма.

Я подписал. Надзиратель и домохозяин раскланялись со мной и вышли из комнаты. Я тоже встал со стула.

— Господин! — вдруг возопил ко мне резчик, — позвольте вас просить посидеть минутку. Оставайтесь.

Я повиновался и снова занял свое место.

— Ну, что вы стоите? Вон! — обратился резчик к бабам, все еще остававшимся в комнате.

— Горчающий ты, прегорчающий! — с глубоким вздохом произнесла одна баба и повернулась к другой, — пойдём! Что на него смотреть, на непутевого.

— Сказано: вон! Машир нах гауз![2]

Бабы молча поплелись из комнаты.

— Господин! — снова возопил резчик, возводя на меня остолбеневшие от сивухи очи, — не в обиду будь сказано, позвольте от вас узнать, будет мне что-нибудь за все это?

— Вам-то за что же?

— Нет, вы позвольте... Думал было у начальства спросить, у правительства, вот которое тут было, но и так тоже в голове имел: ну, да как правительство-то за такие мои за речи

да в клоповник меня ввергнет, а либо со щеки на щеку начнет? Ведь тоже этакое умыва- нье-то, ай-ай, обидно!

— Нет, вам ничего не будет.

— А ей?

— Ну, уж этого вам не могу сказать. Уж тут как суд взглянет.

— Эх, да кабы он, батюшка, взглянул по- тверже! По-моему, так тут надо благородно взглянуть, что ее, аспида, на кобыле да плети- щами, — вот как надо взглянуть! Потому — двенадцатый номер; будь инструмент перво- го номера, так у того нос-то тупой, а ведь этот — шило.

Резчик помолчал немного.

— Ведь из-за чего дело-то вышло, скажу я вам, — скоро заговорил он снова. — Известно, не муж я ей, стало быть какие такие у ней права надо мной? Да и то сказать, и надлежа- щий-то муж, так и то нужно быть последним человеком, чтобы под бабьи права пойти. Так нет, — не смей я с посторонней женщиной слова сказать! А тут как нарочно вон по ваше- му порядку, на той, значит, стороне двора, милашки живут. Ну, соблазн, человек не ско-

тина какая, — вот я к одной и подбился. А Матрешка-то так носом за мной везде и водит. Пронюхала. Третьего дня грызла, вчера грызла, нынче опять та же материя. Взял я, извините за выражение, полено, стал учить. Я хмельной, она хмельная, известно, может быть, как и зашиб невмоготу, — так зачем же инструментом-то норовить? Нет, погоди! За это вашего брата тоже не балуют.

Рассказчик сплюнул в сторону.

— А ведь по христианству так и жаль бабу. Если бы вам, господин, да рассказать, сколько мы мытарств с этой Матрешкой приняли, сколько она в меня денег посадила — и-и-и!

Резчик даже рукой махнул.

— Вы только послушайте, как первое наше знакомство вышло, так можно со смеху помереть, — ей-богу, право!

— Я слушаю.

— Извольте. Было это годов пяток либо шесть тому назад. Жил я в те поры при своем мастерстве далеко отсюда, в городе Саратове. Ну, теперь я человек не старый, а тогда, известно, и помоложе и покраситее был. Как

так произошло, теперь уж и не вспомнишь, а только втюрься в меня лихим делом эта самая Матрешка. А была она вдова — от солдата-мужа вдовела. Ну, знакомое дело, клюет рыба, подсекай, да и тащи ее, как говорят рыбаки. Надо же вам сказать, что Матрешка-то годов на восемь старше меня, стало, приятно ей такого молодчика-то зацепить. Вот-с пошли у нас пиры да веселья: бывало, полштофа три, а то так и целую четвертную водки ухватим, да и жарим, с ней куда-нибудь на Волгу, на остров или в лес — ну, и кантуем там. Было же дело летом, так в петровки. Только опосля всего этого нашего веселья и надумала Матрена такую штуку: «Обрящила я, говорит, милый мой, тебя на большую радость себе; хочу, говорит, теперь тобою перед родными расхвастаться. Поедем в Пензу!» А ее родная тетка в Пензе живет. Надо же вам сказать, что как раз это время в Пензе ярманка бывает. Ну, известно, деньги Матрешкины, стало быть мне что за дело; говорю: «Поедем». Одначе, чтобы приехать нам в Пензу не кое-как, решили мы торговцами на ярманку объявиться. Вот накупили мы в Саратове соленых лещей, — а ле-

щи там ничего не стоят, — наняли возчика, наворотили воз эвона какой и положили так: она, то есть Матрешка, отправится в Пензу передом, предупредит обо мне свою тетку, а я с товаром прибуду опосля; они же с теткой встретят нас у заставы и проводят куда следует. Сказано — сделано. Поехала Матрешка вперед поутру, а мы с возчиком выехали попозже, в обед этак. Вот выехали мы с возчиком за заставу, видим, кабаков по обе стороны что твоего песку морского насыпано, — давай прикладываться направо и налево. Дня три мы, никак, до Пензы-то ехали, и уж как ехали, сколь мы усердно вокруг этих кабац-цей ходили, так и сказать не могу. Скажу только одно, что подъехали мы к Пензе зеленее зеленого вина, кошлатые[3], да оборвались-то все, да в грязище-то извалялись — страсть! Матрешка с теткой встречают нас у заставы, с диву дивуются, на нас гляючи. А надо вам объяснить, что Матрешка этим временем уж все спроворила как следует: и билет мне выправила на право торговли, и место на ярманке для воза откупила, — одним словом, в надлежащую точку вогнала дело.

Вот-с, образили они с теткой маленечко нас [4] и повели городом на площадь, на торг. Идем этта мы городом, вижу и направо и налево все капернаумы стоят, такое то ли вино из полуштофов на вывесках бьет, — любо-два! Стал я забегать то туда, то туда: там крючок ковырнешь, там парочку. Матрешка-то с теткой меня останавливают. «Ну вас, говорю. Хорош бы, говорю, был я торговец, кабы в новой губернии да не попробовал вина!» И покуда на площадь-то шел, так, верите ли, до того этого зелья я в себя внедрил, так ветром меня и качает. Сколько у заставы дурости-то из головы повылетело, столько теперь опять насыпал. Наконец приехали на ярманку: спьяну, что ли, мне, только народу показалось видимо-невидимо. А было дело поутру, так опосля ранних обеден. Ну, разумеется, приехали торговать, первым делом что тут следует? — выпить. Как Матрешка с теткой ни удерживали, вырвался я от них да прямо в питейный и возчика с собой увел — торгуйте, мол, как знаете сами. Рассадили мы тут с возчиком полштофа, вышел я опять на площадь к своему товару, а грязно таково на площади, да

еще сверху дождь идет, и стал я недолго думая лещей с воза хватать да в народ ими помахивать.

Жалко, что ли, Матрене товару стало, ал и так просто дурь нашла, и вцепись она в меня с теткой, не плоше нынешнего. Тут я и пошел чесать. Тетку сейчас вверх ногами поставил; а Матрешку, верите или нет, в грязь по самые уши вбил — так одна голова только и торчит из грязи-то. Народ тут подступил, вступились за баб-то; возчик же, известно, за меня, — и почали мы этими лещами народ охаживать: иного как тряснешь, так он сажен пять кубарем вертится, потому лещи у нас были подобраны матерые, крупные, в другом вон фунтов пятнадцать, двадцать весу, так сообразите-ка, ежели этакой махиной да в рождество кому угодить. Ну, знамое дело, сколько ни войой, а вдвоем не много развоюешься; подоспела полиция, скрутили нам лопатки и повели в часть. Дальше уж я ничего не помню. Пришел вечер. Слышу-послышу от солдат, что моя Матрешка уж не одна забегала в часть и с приставом поладила, можно сказать, в наилучшем разе. «Ладно», — думаю. Завер-

нулся и проспал до утра. Поутру вызывают к приставу. «Помните, что вы вчера наделали?» — пристав-то меня спрашивает. Ну, я вижу, что дело подмазано за первый сорт, вижусь перед ним. «Вы, говорит, не только у меня всех бутарей перебили, а и торговцев, гляди-ка, сколько с праздником сделали». А я ему на это: «Виноват, говорю, ваше высокоблагородие, насчет ваших бутарей; но что ежели насчет торговцев, так и мое дело такое же, как и их, торговое: грех да беда на кого не живут». Отпустил тут пристав нас с возчиком. «Ну, — подумал я, — Матрена, должно, ловко засыпала, что этак-то дело обошлось». Стали мы тут с возчиком я — товар, а он — подводу свою отыскивать. Говорят нам, что и то и другое у Матрениной тетки на квартире, указали где. Идем. И надо же, господин, греху такому быть: как раз против теткойной квартиры стоит кабак; у нас же, известно, после вчерашнего горит вся нутренность — сейчас мы в этот самый кабак — цоп! Вырезали по стаканищу, вырезали по другому, сидим у окошечка да насупротив, на тетину-то квартиру поглядываем, апекиту дожидаемся, потому целую чет-

верть заворотили. И усмотри нас тут из окна Матрешка, прибегла в кабак, зовет, сама плачет-разливается: ты, говорит, со мной и то и другое сделал, ты, говорит, во мне все нутренности отбил; может, говорит, я жизни своей решусь через тебя. Вижу, в самом деле, зеленая-раззеленая передо мною стоит, что твоя лягушка, — сжалился. «Давай, говорю, две красненьких, тогда пойду!» Торговались, торговались мы с ней, наконец порешили мы с ней на пятнадцать серебра. Взял я деньги, говорю: «Ступай, сейчас придем!» А сам между тем держу на уме совсем другое. Как только Матрешка за двери, мы сейчас четвертную высадили с возчиком да задним ходом марш на ярмарку, а оттуда за город, на гулянье. Уж как мы тут чертили, на гулянье, так я вам и сказать не могу: и на качелях-то я качался, и с милашками прогуливался, и медведя водил, — просто угостил свою душу за первый сорт! К вечеру вернулся к Матрениной тетке. А надо вам сказать, что жила эта тетка с чиновником — пузатый такой, распузатый, словно пушка какая. Раз постучались — не отпирают, другой постучались — опять та же

материя; стал я дверь с петлей сворачивать. И выходит этот самый чиновник и, надо думать, грубое что сказал мне, а я, не будь дурак, развернулся да ногой его в брюхо как ахну, — так мой чиновник навзничь и покатился. Одначе скоро поправился, ухватил дубину да за мной. А светло еще на дворе-то. Выбегу я за ворота, а ему и совестно за мной с дубинкой-то гнаться, а войдет он в дом, я опять дверь ломать. Так прохороводились мы с ним, мотри, час, ежели не больше. Матрешка же с теткой, надо быть, схоронились куда — ни гугу! Воевал, воевал я с пузатым, наконец бросил — вспомнил, что на гулянье меня один торговец звал ехать в ночь на другую ярмарку, в уезд, в Ломов. Оставил я тут возчика добиваться расчета, а сам пошел к торговцу. Переночевали мы с ним ночь, а наутро с зарей выехали в путь. Отъехали, может быть, каких-нибудь версты две-три, стала меня совесть мучить, думаю: «Много еще у Матрешки денег осталось». Опять же и то думаю: «В грязь ее по уши вбивал, в кабаке хворую видел — не умерла бы на грех». Думал, думал, нет — соскочил с телеги, говорю: «Пойду обо-

ротом». Взял тут у торговца поминанье такое розовенькое, — он всякой мелочью торговал, — да и держу в уме: «Ежели, мол, сдохла, так хоть в поминанье впишу, попу подавать за упокой буду», — да с этими мыслями и вернулся опять к тетке. Как пришел, так сейчас и говорю всем им: «Простите, говорю, добрые люди, мне мою дурость, но только я супротив вас никакой злобы не имею». Сейчас Матрешку — чмок, тетку чмок, с пузатым за ручку попался. И, верите или нет, так я им этим моим обращением угодил, что тетка даже в слезы ударилась, а пузатого своего кубаря, так даже поедом съела: «От чужих, говорит, людей только удовольствие и получаю, а от тебя хоть бы ласку какую когда». Сейчас умереть, если вру! Ну, тут мы на радостях расколупали четвертную, расплатились с извозчиком — лещей бабы-то еще накануне продали — вымазали Матрену скипидаром, чтобы здоровее была, да и марш в Саратов. А ежели бы вы знали, как не пускали нас, да как звали в другой раз погостить, — просто страсти! Вот они какие у нас дела с Матрешкой-то бывали! — закончил резчик.

Я поднялся со стула.

— Вы уходите?

— Да уж пора.

— Пойду-ка и я Матрешку вызволять, — вставая с места, проговорил резчик.

— Ну, это вам едва ли удастся.

— Мне хоть бы глазком одним на нее взглянуть: очень уж соскучился.

Мы вышли из квартиры вместе, а затем разошлись в разные стороны.

Прошло полтора-два месяца. Я уже совершенно забыл о резчике, как вдруг встретил его на улице под руку с какой-то миниатюрной тщедушной женщиной.

— Наш атлас нейдет от нас! — приветствовал меня резчик, указывая на свою спутницу. — Ездила ведь, шельма, домой, да вернулась-таки. Недаром же в песне-то говорится:

*И за что тебя, каналью,
Так жестоко полюбил? —*

подмигнул мне резчик и фертотом прошел мимо, увлекая за собой свой «атлас».

Примечания

Пламенная любовь. — Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», № 177 за 1872 год, по тексту которой и печатается в настоящем издании. Рассказ включает собою цикл «Калейдоскоп».

[^^^]

2

Машир нах гауз! — Марш домой! (*искаж. нем.*
marschiert nach Hause).

[^^^]

3

Кошлатые — растрепанные, лохматые.

[^^^]

4

*...образили они... нас... — то есть придали
должный вид.*

[^^^]